

ЭМПИРЕЙ

...И когда они дошли до конца, то увидели перед собой дом риторического белого цвета. Стены у дома были гладкие и тяжёлые, а одна из них так сильно походила на дверь, что они навалились коллективным мышлением на эту догадку, – и вскоре стена отошла. Шагнули внутрь – там было так холодно, и везде висели какие-то наросты...

- Это чушь. Кто-то наморозил... Видишь, комки мути, текущие события – всё это чушь.

- *Холодильник с чушью?*

- Похоже на то.

- А съедобное тут что-нибудь есть?..

Как умирали иллюзии... По городам шли ноги из туловищ, на шарнире ездил голова, из которой живут. Из головы живут, а всё остальное паразитирует через неё, тело приставлено как конвоир, и ничем не отодрать, надо таскать его за собой, как напасть, таскать, пока само не отвалится.

А вот и он – красавец-человек. Топчется и ждёт свой суп. Машина приехала с опозданием, бочки оказались холодными, но через час пусты – неотложка. Во втором круге дали по корке, но – всё. Красавец-человек: *и на том спасибо*. Сел в оползень и полз по маршруту до стеклянного замка. Там вывалился, ввалился, летел вверх. Вскоре был на месте: плотные объятия комнаты, в них четыре красавца-человека, все личности, но без брони – мягкотелые голодные твари.

Корку разделили – ворчало сначала в животе, потом словами. Но корки не прибавилось. Разбрелись по углам: переводчик переводит, конструктор острит, редактор режет, архитектор выстраивает (с партнёрами) отношения. Переводчика зовут Коршин, он как ангел маркий, творческий агент, бумажный – кожа высохла, сухое молоко-тело. Потеет через дела, внутрь. Тем не менее: рубашка в пуговицу, лицо бритое и без язв. Читает на языках – двоится. Кандидат, пациент.

- Слушай, а я сегодня видел очередь, думал, митинг, оказалось, очередь.

- И что там?

- Кошек отдают. Кошки едят...

- А у меня сеттер был, отвёз в лес.
- Грибами не выживешь.
- Мыши.

Разговаривали иногда, но, в основном, делали. В основном, те делали на них. А у этих психика на сопле, недостаток минеральных веществ. Но не вымерли. Приоритет – не вымереть, чёткая установка. Цепляются за реальность – рука вьётся, как закорючка, терпеливое лицо. Надо что-то есть, покупать свитер, шампунь. Обсуждать ничего не происходящее. Не праздновать рождество, не хотеть в отпуск, выгнать любимого пса.

- Иди, Бармалей.

А он стоит и смотрит глазами, как ничего не понял. Надо примотать легонько к дереву и бежать: пока ещё выпутается...

Так они жили, душили себя надеждами. В офисах шли игрушечные грозы, в квартирах дёргались подавленные вещами, в планах скулили сквозняки, пищали датчики ошибок, разумная серость расчёсывала банальную голову – перхоть летела в параллельный мир, а этот, оригинальный, был такой маленький, но никто не интересовался им по-хорошему, из года в год никто не знал, зачем этот мир существует. И они были два сапога пара – человек и мир. Пастор пастеризует, мастер мастерит...

- А ты чем занимался всю жизнь?
- Носил имя.
- Донёс?

На многих и не раз. Ходил через муки красной зависти, по головам, через стены, время своё тратил на то, чтобы научиться не кричать и всё же кричал, поражённый ощущением жизни, как маленький ребёнок бился в этом одиноком страхе бессмысленности человеческого состояния. И многие слои опыта должны были нарасти, прежде чем формировалась эта лупа, через которую он смотрел на себя, и где-то в глубине отражений – вот он, человек. Костяной шлем головы, внутри – сжатая мясистая нервность, она же – мозг, клокочущее ядро жизни. Внешняя сфера спрессована там с помощью понятий – это и есть мозг, спрессованный

мир. И если что-то заканчивается в мире, это заканчивается и в людях.

Раньше было много чего, но потом всё закончилось. Люди утратили знание о самих себе, и эти нитки – тонкие чувства, никто не улавливал, а раньше ведь вязали из них – любовь, искусство – теперь же в глубину никто не смотрел, думали, что это яма. Закапывались в свои проблемы, и эта глубина была привычней, доступней. Психологические типы сосредоточились, задубели, осталось только две группы людей – те, кто сидел в сытости и те, кто никак не мог туда сесть. Потом сытость закончилась, и все стали сожалеть об этом, только и делали, что сожалели, и это было главное развлечение – сожалеть и кто больше напотерял за жизнь.

По улице летал гул из дыханий, как ветер живого, дома росли чётким квадратом, крыша – головной убор – теперь редко где появлялась, в основном все ходили видом почтительные, с ровными макушками, дышали тихо, но суетно: день за днем поколение за поколением люди, как маленькие фабрики, трудились, перерабатывая планету в серое. Они смотрели на лес, и лес становился серым, подходили к пруду – и там плавали серые птицы на серых костях. От таких усилий даже кожа у людей как-то посерела.

– Что вы тут?

– Вырабатываем смирение.

Серый – это был низший экстремум, защитная оболочка. Они прыгали в него, как в кратер-стабилис и варились в этом вареве серого, выпаривая туда же серое вещество изнутри, выпаривая любопытство и интерес, и все эмоции, могущие расшевелить воображение, они кидали туда время, и солнечная почасовая ставка была никому не важна: они жили в пыльном цвете общих представлений о жизни. Потом уже серость автоматически установилась, но людям всё ещё нравилось вариться, и тогда они варились в соке своего голода, и это был не голод на знания, но это был голод на голод.

А знания тоже переместились. Они хранились сначала в головах, потом в предметах, потом на бумаге и, наконец, в облаках, и прямо в воздухе, невидимые, но доступные по первому призыву мыслящего. Мир оказался подозрительно

сложным, и многие испугались, что не смогут его изучить, поэтому не стали и начинать, а этот длительный путь – от чтения вслух, от изучения знаков до детерминирования реальностей в голове – он давно бы закрылся, если бы не кучка энтузиастов, продолжающих топтание вперёд – от предметного к умозрительному. Это было именно топтание меньшинства, а для всех остальных книга была обычным предметом, в некотором смысле, безделицей, страницы годились для поделок, но лучше было чистую взять – и ещё тысяча причин не читать. А если и читать: там внутри всё в подразумеваемом виде – требовало расшифровки, мышления, а это дополнительные усилия без прямой выгоды.

Но выгода была обязательна. Лишённые выгоды, многие вещи исчезли: эфемерный мир и ярмарочные чудеса – это всё пропало, смех сам выродился – смеховые усилия требовали энергии, а где же её собрать, и все эти придумки были, вряд ли, практичны, вырываемые из книг, они тут же серели, будучи накладываемы на серый фон тоски. И целый город, раскинутый в унынии тяжёлого рока, и мещанского страха, и тонкий гул голосов, не читающих вслух, аллитерация быта – *кып-йоп-гроп*, разборные шествия, сужающиеся по переходам, и расходящиеся на маршруты дня; одинаковые серые будни, люди-тоскуны и акробаты, бродящие по ниткам городских проводов, закинутые к небу голодные рты, вырванные ленты языков, *купите счастье или талисман!* – зрелища, чреватые надеждой на лучшее, были давно запрещены, и незачем тогда спорить – выгода всегда обязательна. И выгодней всего была серость.

Серость – подруга цвета, это конкретика и благоразумие, это серость. Что-то мешало, что-то стояло на пути превращения мира в единое серое, в единое однообразное месиво – мешало, и это были мечты, время от времени у кого-то возникало в голове, как местечковый шар, и потом всё больше и больше, больше головы, как шар, и ещё росло, пока не заполняло сознание, и это была красивая иллюминация, если бы они видели, но эти серели, и через свои серые зрачки, морщились и говорили *ну хватит уже этого баловства* и открывали курсы по удушению мечт. Техника была несложна: крупное стремление обматывается обстоятельствами, закупоривается в мешок совокупного опыта («можно перетерпеть», «этого не было в планах», «у других ещё хуже») и выбрасывается на помойку, туда, где

уже орудуют перевозчики снов, и эти в вязаных шапочках, которые тут же запускают руки – и мечту уже не вернуть, мечта уничтожена вместе с нервом жизни, который её породил, и на её месте вырастает щетина желаний – мелкие колючие потребности, однообразные уродцы, имитирующие первоначальный вариант. И один из перевозчиков подходит к вам и трогает вас за лицо грязными пальцами, и делает так *блымк* глазом и *приносите ещё*. «Конечно, принесу, как только намечтаю, сразу же принесу», – говорите вы, и он смеётся, и он не верит ни единому слову, а во рту у него белая горечь вместо зубов.

СТРАДАТЬ, ПОЕДАЯ СВОИ ЖЕЛУДКИ

«Вселенная торчит из моей головы». Нет, не туда... «Чем я кормлю свой мозг? Да, вот именно», – бормотал преднамеренно-талантливый переводчик Коршин, прогуливаясь по взъерошенным улицам демонстративного города. К обеду посвежело как раз. Воздух залетал в лёгкие – скудный, разобранный чужими носами. Хотелось всего и сразу. Витрины стояли такие чёткие – квадратные очки, через них смотреть-не пересмотреть, и всякие вещи на бархате, витрины как скобки закрываются, но он не из этого предложения. Колючая тоска в нём, а по сторонам – лавки-булавки с острыми коленями, и ещё фонари тут, параболический азарт кафе, внутри – уют, милое шевеление. Всё же иногда ему удавалось зайти в одно из этих мест, и тогда он долго сидел с книгой, размазывая по нёбу мягкую пену благовонного капучино.

Как он сидел там – человек в праздничных катышках. За окном метались дорогие автомобили с защитными корпусами против нищих, напротив стоял пламенный ресторан, возле – охранников человек шесть, но это всё равно, он ведь сидел в кафе с чашкой хорошего кофе, он ведь скушал пирог только что – яблочный с клюквенной макушкой, и это же суета, говорить *это же суета*, но голод исподтишка всегда, и с ним не договоришься. Только когда свербение на тему еды удавалось подавить, начинали проявляться контуры мироздания, внутренняя колония оживала, и оттуда падали разноцветные флаги свободы.

Ему нечасто удавалось такое – приходить сюда, шатать стул поясницей, руками по поверхности – ходить (по поверхности), красные скатерти и кофе из живой воды. Катились глаза по стенам, катились по людям. Ходили руки по столу, ходили мысли вон из головы, рот ездил из стороны в сторону – бумеранговая улыбка.

Всё вокруг обвивалось такой ласковой атмосферой. Стулья были с завязочками по бокам, а у стены рядом мешки выложены, потрёпанные, с печатями, вывалившиеся зёрна – как будто это кофейные вулканы (муляжи съедобного). По сторонам лампы неравномерные на длинных волнистых ногах и группировка старинных часов, которые все ходили, как хотели, но не только потому, что были ленивы, как мешки, но и потому что время давно перестало работать на них. Время здесь теряло свои характеристики, время превращалось в сладкое тягучее вещество – атмосферный зефир, который можно было растаскивать по рецепторам, как отдельное ощущение.

Вот так он сидел на блаженном островке этой осушенной паями, вспоротой границами суши, истыканной скважинами земли, отнятой у людей. Все боялись себя учредить, а он вроде как справлялся иногда – сидел в кафе с книгой, щекотал подавленное настроение. В книге братья запекли ежа в глине, а в жизни тёплый кофе тёк по его горлу. Кафе как будто заворачивало его в себя, крепило к нужной системе координат и вместе они – человек, пирог и книга – были чистой силой, и никто не мог отобрать у них власть.

Эти великие радости – простые человеческие, к ним и придраться-то неприлично, такие редкие – раз или два в месяц. Ухватиться за нерв, и это втягивание в него среды – через сладкие кофейные слюны, через рот и глаза, паручасовой тур по жизни, а дальше – обратное служение, ноги в коленях – так он сидит или молится на языке смирения, а перед ним тотемное чучело фаст-фуд: еда слишком быстрая, и ни на что не хватает – крошечная повседневность. И только сны на десерт...

Ну и, конечно, книги. Внутренний голос появлялся и исчезал, а книги были всегда разные и были всегда с ним. Они выпускали в мир позитивные мысли или боль – живые реакции, громыхали метафорами, баловались или сияли. Где-

то пряталось гнездо романтики, где-то прощупывался национальный контекст, практики по изучению воздуха (вещи очень тонкие и вовсе не вещи). Жизнь как одна большая гиганта дергалась вокруг него, нанизанная буквами на листы.

Книга порождала вйверо – ощущение одушевленного пространства, и он летел глазами по тексту, как на крыле, как гласная, – он влетал в самую гущу сюжета и чувствовал, как всё вокруг отвечает на его запросы. Коршин оглядывался и видел около себя города, исполненные плоскими глотками дорог, видел эти дрожащие дни, шаткие, с отламывающимися при ходьбе ногами, видел эти унылые почтовые зрелища – дешёвые развлечения для бедняков. Он видел самого себя, и в этих видениях он был как штырь, вставленный в засохшую вену реальности, и он сверлил её сухую кровь с целью произвести какую-то операцию, смысла которой пока ещё не уловил.

Коршин читал и читал. Спрашивал, и в четвёртом предложении шестого переулка верхней клюковки был какой-нибудь ответ. Книга была разумна – так он думал, выставлял глаза на новый абзац, и дальше начиналось веселье: экстазы, рыскание, моногамия, дама, больная гоготом, «показывая погоду в банке», дождливые очки, клетки на воздушных шарах, мутация лени, обезбоживание, вицеживание, плацентарная мысль... Такие разветвленные смыслы – древесно-бесные, и он был как садовник или как бог, всё-таки как садовник, и это всё виделось ему как сад, и он был уверен, что вот в этот самый момент, когда он сидит тут с запечённым ежом в воображении, он удобряет всеобщую духовность. И Коршин говорил себе: «Вот я нужен всё же».

И ему представлялись эти многогранные иллюзии, как новые города – из знаний, вдали от послушного существования, вдали от испуга. Там предания – способы, какими зазывается истина, там пьют бульон из сахарной кости истории – питаются горячим счастьем: от эллинской культуры до научной реальности. Там жители с красными бровями – хмурятся, смеются, удивлены – отсюда красные брови. Они читают.

...Красные брови – у них, а в кафе – красные скатерти в белый круг. Он заходил сюда на прошлой неделе, истратил отложенное богатство, и теперь можно было только вспоминать. Хотя бы постоять рядом – вроде тот же вид, почти тот же, а на деле – совершенно другой: без капучино внутренности захлёбывались от разъедающего сока обиды, и через это была не видна *очевидная красота этой эпохи, свобода и каждому по способностям.*

Человек прислонился к стене – над головой фонарь, извилина по спирали развития, декоративные символы. Растоптал пятку, открыл книгу и попробовал читать, но чего-то не хватало, и тут же – что-то было лишним, а именно – голод, голод был лишним. Ветер переменился, и перед носом поплыли чудесные запахи, где-то там булка изготовилась, вкусная, пряная выпечка – марципан или ватрушка, а может, настоящий пандоро, обсыпанный дымящей пудрой человеческого прогресса (готового сахара нет в природе). Он покрутился и намотал на себя этот праздничный запах – на одежду, на волосы, и от этого стало хорошо, и стало так сладко. Теперь он унесет с собой эту ароматность воскресного вечера.

Книга была медленной и равнодушной. Буквы разбегались и выпадали из контекста, но человек не сдавался – цеплял слова и снова лез в гипнотические миры из слов, затаскивал себя в знаковые происшествия, пропихивался в души нытиков и садистов, размазывал по крышам самоубийц, целовал собой малиновые рты...

В животе заурчало. Коршин замахнулся ещё на одно предложение, но оно тут же выскользнуло из внимания – еле поймал, бережно положил его на место, закрыл книгу и двинулся по улице, желая стряхнуть с себя этот ставший неприятным запах городской булки. И что в нём хорошего? Противный хитрый запах вызревших дрожжей. Не то что бы противный...

Он снова и снова обнюхивал свои рукава, глотая носом этот обширный, распирающий грудь съедобный воздух, и перемещался в минувшие выходные: какой был кофе – точный и сильный, белая кремовая верхушка...

– К чертям!

Живот запел сольную. Витрины нахватались взглядов и стояли напыщенные. Размазанное по дорогам, гнило общее тело толпы. *Где закончился консервант, и началось брожение?*

С закрытыми лицами, старея на ходу, люди шли прописными путями, а по сторонам гремели огромные мясорубки и мельницы, участвующие в процессе приготовления мира, который пекли неряшливые кулинары, падающие в тесто вместо начинки...

Коршин снова уловил запах от своей одежды. Теперь он казался просто омерзительным. И как он так расслабился, потерял контроль? Это единственная рубашка, а завтра ведь на работу, и этот хлебный запах, они будут ощущать его все... Они будут дышать и вместе – нюхать, они будут страдать, поедая свои желудки.

Он попытался вытряхнуть съедобную вонь, но она накрепко впиталась в ткань, впиталась, как в ткань его жизни. Надо было срочно пропахнуть чем-то более привычным, и он двинулся в парфюмерную лавку техногенных отходов, которая была по всему городу – одна большая лавка. Он прошёл по магистрали, как сунулся в выхлопную трубу, потом упал в метро – прислонился к старухе с сорока сумками хлама, девушка у стены улыбнулась ему:

– Ты кто? – спросил.
– Я красный камень, сотканный из нервов.
– Серьёзно? А я серая куча мяса, нанизанная на человеческую модель.

Подумал, но не сказал, на деле просто промолчали друг с другом. Коршин ещё прошёлся по углам, вытер рукавом пот со лба, собрал воротником смрадный городской нашатырь и только после всего этого ощутил на себе знакомый запах обыденности. *Теперь на работе не заметит никто.*

Вошёл в свой подъезд: полы вязкие как мазут – химическая грязь с улицы, пыль плюс дождь ещё со вчерашнего – испаряются медленно, в резиновую слизь, и это – ступени бесковровой дорожки. Здесь везде партеры шипящего театра – по сторонам, в стенах. Там, где дыра в двери, там *она* живёт

– общественное мнение. Люди. Все с разными глазами, выверенные линейные макеты характеров. Формальный звук тишины, но это слышимость: вокруг шёпоты как пищевая плёнка для событий. Они сгущают всё, и он чувствует, как эти шёпоты, злые, морщинистые, тянут его за судьбу куда-то, сдавливают его...

– Давай же, иди сюда – в люди, но как в толпу только.

– Но я хочу в люди.

Раньше бы сказал, но теперь промолчать быстрее. Ноги выставил из подъезда в коридор. Квартира как у всех – прикрытый бытом позор, коробка из глины, стеклянные дыры – это дом, страшило, не меняющее маски. Разобранное на комнаты пространство: чулан для времени – рабочий кабинет, тут же спальня (любимое одиночество), книжные шкафы, за остальными дверями – чужое. Под коркой стен вздрагивает бесстрашной ветхостью застарелая бедность.

Где-то рисуют солнцем, а здесь от него потеют. На улице погода, а внутри – духота, и окнами не вдохнуть: ветер с обратной стороны катается. Люди потеют, но Коршин уже перестал – просто пожирает тепло телом; вентилятор сломался четыре по два, и ни одной белки в запасе, да и зачем ему белка – он сам обеими ногами, полушариями бежит, машет из маховика – «Привет!»

Входит женщина – черты лица туго крепятся к черепу. Ни единой приметы радости во взгляде. Присаживается на кровать и начинает тереть лоб. Удаляет раздражение из вещества, которое впитывалось годами – это вещество безысходности, проступающее красными линиями на лбу. Это раны от пробивания стен мирозданий, шифрующихся под органы социальной опеки.

Какие-то скрипучие звуки, сердитость, дыхание. Головомойный режим включен, но и так чисто, куда ещё убирать? Мужчина сидит, сцепив аргументы, держа наготове чувства: мало ли.

– Ну?

– Нет.